

ИННОКЕНТИЙ
АННЕНСКИЙ

стихотворения



МОСКВА





ИННОКЕНТИЙ
АННЕНСКИЙ

стихотворения



МОСКВА

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5
А68

Художественное оформление А. Зининой

Анненский, Иннокентий Федорович.
А68 Стихотворения / Иннокентий Анненский. — Москва : Эксмо, 2025. — 320 с.

ISBN 978-5-04-203700-9

Иннокентий Анненский — выдающийся русский поэт, драматург, переводчик и критик, родившийся в 1855 году. Хотя при жизни его творчество не получило заслуженного признания, оно оказало значительное влияние на младшее поколение символистов (Александр Блок, Андрей Белый и др.).

Поэзия Анненского отличается особым взглядом на мир: явления и предметы становятся больше самих себя, приобретая особый, ирреальный ореол. Мистический эффект его стихов будет интересен и современному поколению читателей, чувствительных к потустороннему.

Иннокентий Анненский — одна из ярчайших фигур русской поэзии, чье творчество до сих пор вызывает интерес у исследователей и заставляет задуматься над ответом на вопрос: «Что есть поэзия?»

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5

ISBN 978-5-04-203700-9

© Оформление.
ООО «Издательство «Эксмо»,
2025

МАКСИМИЛИАН ВОЛОШИН
АННЕНСКИЙ — ЛИРИК

«Все мы умираем неизвестными»... Слова Бальзака оказались правдой и для Иннокентия Фёдоровича Анненского.

Но «жизнь равняет всех людей, смерть выдвигает выдающихся». Надо надеяться, что так случится и теперь.

И. Ф. Анненский был удивительно мало известен при жизни не только публике, но даже литературным кругам. На это существовали свои причины: литературная деятельность И. Ф. была разносторонняя и разнообразная. Этого достаточно для того, чтобы остаться неизвестным. Слава прижизненная — удел специалистов. Оттого ли, что жизнь стала сложнее и пестрее, оттого ли, что мозг пресыщен яркостью рекламных впечатлений, память читателя может запомнить в наши дни о каждом отдельном человеке только одну черту,

одно пятно, один штрих; публика инстинктивно протестует против энциклопедистов, против всякого многообразия в индивидуальности. Она требует одной определённой маски с неподвижными чертами. Тогда и запомнит, и привыкнет, и полюбит.

Быть многогранным, интересоваться разнообразным, проявлять себя во многом — лучшее средство охранить свою неизвестность. Это именно случай Иннокентия Фёдоровича Анненского; и лишь теперь для него начнётся синтетизирующая работа смерти.

И. Ф. был звездой с переменным светом. Её лучи достигали неожиданно, снопами разных цветов, то разгораясь, то совсем погасая, путая наблюдателя, который не отдавал себе отчёта в том, что они идут от одного и того же источника. И надо отдать справедливость, что у Иннокентия Фёдоровича были данные для того, чтобы сбить с толку и окончательно запутать каждого, кто не знал его лично.

Вспоминаю хронологическую непоследовательность моих собственных впечатлений о нём и о его деятельности.

В начале девятисотых годов в беседе о при-
сборбных статьях Н. К. Михайловского о фран-
цузских символистах: «Михайловский совсем
не знал французской литературы — все све-
дения, которые он имел, он получал от Ан-
ненского». Тогда я подумал о Николае Фёдо-
ровиче Анненском и только гораздо позже
понял, что речь шла об Иннокентии Фёдоро-
виче.

Года два спустя, ещё до возникновения
«Весов», Вал. Брюсов показывал мне книгу со
статьёй о ритмах Бальмонта. На книге было
неизвестное имя — И. Анненский. «Вот уже
находятся, значит, молодые критики, которые
интересуются теми вопросами стиха, над ко-
торыми мы работаем», — говорил Брюсов.

Потом я читал в «Весах» рецензию о кни-
ге стихов «Никто» (псевдоним хитроумного
Улисса, который избрал себе Иннокентий Фё-
дорович). К нему относились тоже как к моло-
дому, начинающему поэту; он был сопоставлен
с Иваном Рукавишниковым.

В редакции «Перевала» я видел стихи
И. Анненского (его считали тогда Иваном Ан-

ненским). «Новый декадентский поэт. Кое-что мы выбрали. Остальное пришлось вернуть».

Когда в 1907 году Ф. Сологуб читал свою трагедию «Лаодамия», он упоминал о том, что на эту же тему написана трагедия И. Анненским. Затем мне попался на глаза толстый том Эврипида в переводе с примечаниями и со статьями И. Анненского; помнились какие-то заметки, подписанные членом учёного комитета этого же имени, — то в «Гермесе», то в «Журнале Министерства народного просвещения», доходили смутные слухи о директоре Царско-сельской гимназии и об окружном инспекторе Петербургского учебного округа...

Но можно ли было догадаться о том, что этот окружной инспектор и директор гимназии, этот поэт-модернист, этот критик, заинтересованный ритмами Бальмонта, этот знаток французской литературы, к которому Михайловский обращался за сведениями, этот переводчик Эврипида — всё одно и то же лицо?

Для меня здесь было около десятка различных лиц, друг с другом не схожих ни своими интересами, ни возрастом, ни характером дея-

тельности, ни общественным положением. Они слились только в тот мартовский день 1909 года, когда я в первый раз вошёл в кабинет Иннокентия Фёдоровича и увидал гипсовые бюсты Гомера и Эврипида, стену, увешанную густо, по-старинному, фотографиями, литографиями и дагерротипами, шкафы с книгами — филология рядом с поэтами, толстые томы научных изданий рядом с тоненькими «plaquettes»¹ новейших французских авторов, ещё не проникших в большую публику. Наружность Иннокентия Фёдоровича гармонировала с этим кабинетом, заставленным старомодными, уютными, но неудобными креслами, вынуждавшими сидеть прямо. Прямызна его головы и его плечей поражала. Нельзя было угадать, что скрывалось за этой напряжённой прямызной — юношеская бодрость или преодолённая дряхлость. У него не было смиренной спины библиотечного работника; в этой напряжённой и неподвижной приподнятости скорее угадывались торжественность и начальственность. Голова, встав-

¹ Брошюрами (*франц.*).

ленная между двумя подпиравшими щёки старомодными воротничками, перетянутыми широким чёрным пластроном, не двигалась и не поворачивалась. Нос стоял тоже как-то особенно прямо. Чтобы обернуться, Иннокентий Фёдорович поворачивался всем туловищем. Молодые глаза, висячие усы над пухлыми, слегка выдвинутыми губами, прямые по-английски волосы надо лбом и весь барственный тон речи, под шутовством и парадоксальностью которой чувствовалась авторитетность, не противоречили этому впечатлению. Внешняя маска была маской директора гимназии, действительного статского советника, члена учёного комитета, но смягчённая природным барством и обходительностью.

Всё, что было юношеского, — было в неотомлённом книгами мозгу; всё, что было старческого, было в юношески стройной фигуре. Хотелось сказать: «Как он моложав и бодр для своих 65 лет!», а ему было на самом деле около пятидесяти.

Его торжественность скрывала детское легкомыслие; за гибкой подвижностью его идей

таилась окоченелость души, которая не решалась переступить известные грани познания и страшилась известных понятий; за его литературную скромностью пряталось громадное самолюбие; его скептицизмом прикрывалась открытая доверчивость и тайная склонность к мистике, свойственная умам, мыслящим образами и ассоциациями; то, что он называл своим «цинизмом», было одной из форм нежности его души; его убеждённый модернизм застыл и остановился на определённой точке начала девяностых годов.

Он был филолог, потому что любил произрастания человеческого слова: нового настолько же, как старого. Он наслаждался построением фразы современного поэта, как старым вином классиков; он взвешивал её, пробовал на вкус, прислушивался к перезвону звуков и к интонациям ударений, точно это был тысячелетний текст, тайну которого надо было разгадать. Он любил идею, потому что она говорит о человеке. Но в механизме фразы таились для него ещё более внятные откровения об её авторе. Ничто не могло укрыться в этой области от его

изошрённого уха, от его ясно видящей наблюдательности. И в то же время он совсем не умел видеть людей и никогда не понял ни одного автора как человека. В каждом произведении, в каждом созвучии он понимал только самого себя. Поэтому он был идеальным читателем.

Перелистывая немногие и случайные письма, полученные мною за эти несколько месяцев знакомства от Иннокентия Фёдоровича, я нахожу такие фразы, глубоко характерные для его отношения к слову: «Да, Вы будете один... Вам суждена, быть может, по крайней мере на ближайшие годы, роль, мало благодарная». Пишет он мне после первого нашего свидания: «Ведь у вас — школа... у Вас не только светила, но всякое бурое пятно не проснувшихся, ещё сумеречных трав, ночью скосмаченных... знает, что они СЛОВО и что ничем, КРОМЕ СЛОВА, ИМ — светилам — не быть, что отсюда и их красота, и алмазность, и тревога, и уныние.

...Мысль... Мысль?.. Вздор всё это. Мысль не есть плохо понятое слово; в поэзии у мысли страшная ответственность... И согбенные, часто недоумевающие, очарованные, а иногда — и не-

редко — одураченные словом, мы-то понимаем, какая это святыня, сила и красота...

...А разве многие понимают, что такое СЛОВО у нас? Но знаете, за последнее время и у нас — ух! — как много этих, которые нячутся со словом и, пожалуй, готовы говорить об его культуре. Но они не понимают, что самое СТРАШНОЕ и ВЛАСТНОЕ слово, т. е. самое ЗАГАДОЧНОЕ, может быть, именно слово БУДНИЧНОЕ».

Я не стесняюсь приводить эти слова только потому, что это «ВЫ» — здесь лишь форма выражения, а читать следует «я». Это самого себя Иннокентий Фёдорович под впечатлением нескольких моих стихотворений почувствовал одиноким, себя понял осуждённым на роль мало благодарную в течение ближайших лет, себя знал носителем школы, сам сознавал, что для него внешний мир ничего, КРОМЕ СЛОВА, не представляет, сам трепетал красотой и алмазностью, тревогой и унынием страшных, властных, загадочных — БУДНИЧНЫХ слов.

Каким поэтом мог быть тот сложный и цельный человек, намеренная парадоксаль-

ность речей которого была лишь бледным отражением парадоксальных сочетаний, составлявших гармоническую сущность его природы? Это был нерадостный поэт. Поэт БУДНИЧНЫХ слов. В свою лирику он вкладывал не творчество, не волю, не синтез, а жёсткий самоанализ...

Я завожусь на тридцать лет,
Чтоб жить, мучительно дробя
Лучи от призрачных планет
На «да» и «нет», на «ах» и «бя»,

...И был бы, верно, я поэт,
Когда бы выдумал себя...
...И был бы мой свободный дух
Теперь не «я», он был бы «Бог»...¹

Он не хотел «выдумывать себя» и своё земное «я» противопоставлял сурово и свободно божественной своей сущности, становясь на диаметрально противоположную точку самоут-

¹ Я завожусь — Теперь не «я», он был бы «Бог»... — Цитаты из сонета «Человек» («Я завожусь на тридцать лет...»).